

КАЛЕНДАРЬ «ЛГ»

А. П. ЧЕХОВ:

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья...»

ЯВЛЕНИЕ Чехова-классика было неожиданным и каким-то, на первый взгляд, необычным: все в нем, казалось, противоречило опыту русской классической литературы.

Ведь как начинали наши великие? В Пушкине чуть ли не с лица увидели главную надежду нации, Гоголь, как фейерверк, ворвался в российскую словесность со своим первым сборником, а уже после второго сам Белинский провозгласил его главою литературы. Достоевскому стоило написать лишь одну повесть — и его назвали «новым Гоголем». Лев Толстой, только-только приступивший к делу, одновременно удостоился признания таких разных критиков, как Дружинин и Чернышевский.

А Чехов? Начинать в массовой литературе и в журналистике самого невысокого разбора, долго-долго многими там и числился, медленно и постепенно входил в общее сознание, и едва ли не со смертью только, будто спохватившись, все вдруг поняли, что это было одно из крупнейших явлений мировой культуры.

Ведь чем славны наши великие? Романы, поэмы, эпосы. И почти всегда — центральная книга-откровение: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир».

А у Чехова? Фельетоны, очерки, редко — небольшие повести, уже под занавес — ряд пьес. И — рассказы, рассказы, рассказы...

И, наконец, ведь всех наших великих отличает ясное сознание своей избранности и безусловного величия. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» (Пушкин). «Пл совершу!» (Гоголь). «...Много ли у нас великих писателей?» — задается однажды вопросом Лев Толстой. И, скупо перечислив, добавляет: «Ну... я».

А Чехов? «...Каждый из нас в отдельности не будет ни слогом среди нас» и ни каким-либо другим зверем... мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Ти-

мой площади... Кто угодно: «Либеральный душа», «Марья Ивановна», «Молодой человек», «Корреспондент», «Барон»... «В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команд», — заявил Чехов. Любопытно: не один герой типа Базарова или Обломова, который долго, как во чреве, вынашивается, а армия! «Все его творчество», — отметил в своем «Слове о Чехове» Томас Манн, — «отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает необъятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противостоитно-порядковости».

О ИМЕННО для того, чтобы охватить необъятную Россию, и пришлось отказаться от эпической монументальности. Чехов объявил то, чего не могли бы объявить никакой роман и никакая поэма. Он пронзил всю толщу жизни. Здесь самому большому послужило самое малое — гибкий, подвижный, динамичный, могущий быть ко всему приложенным рассказ. А уже он потребовал совершенно особого стиля. «Умею коротко говорить о длинных предметах», — коротко же определил Чехов свой стиль. И еще о каких длинных! Почти не знавшая в последнее время, даже у Толстого, нарицательных типов, русская литература снова обрела их, но уже не в монументальном романе («Обломов»), а в небольшом рассказе: Душечка, Ионыч, унтер Пришибеев... Иная гоголевская или толстовская фраза-период могла бы одна заполнить иную чеховскую новеллу. Целая книга как бы вмещалась в один рассказ, рассказ — в одну фра-

Николай СКАТОВ

СТАНОВЛЕНИЕ

СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

хонев, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бещеный, в «восьмидесятые годы» или «конце XIX столетия». Некоторым образом, артефакт.

Тем не менее только об одном из этих «артефактов», восьмидесятников, о Чехове, будет сказано Горьким, что он делает эпоху в истории литературы и в настроениях общества.

Литературная эпоха прямо отражала и выражала эпоху историческую. В конце XIX века человечество, имея на острие движения России, вступало в завершающую стадию колоссального исторического периода и уже готовилось к новому. Объявлять здесь все и подвести итоги всему дано было скромному сыну малого таганрогского лавочника. И не с орлиных высот, а снизу и изнутри. Когда Чехов начинал молодым московским медиком, то, конечно, не думал, что ему предстоит стать самым великим во всей истории нового времени диагностом-писателем.

Наверное, впервые в этой истории был так исследован, простужен, прослушан («поверните здесь... дышите... еще глубже») весь ее состав, снизу доверху, вдоль и поперек, в самом большом и в самом малом. Известен как будто даже отыскивающий анекдотом рассказ-свидетельство Короленко о молодом Чехове:

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Вот. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

Речь не об описании пепельницы. Пепельница могла стать и становилась в центре литературного произведения. А также — «Справка», «Жалобная книга», «Альбом», «Письмо...», «Визитные карточки». А также — «Орден», «Экзаме́н», «Выска», «Устрицы», «Бумах», «Закуска» — это угодно. Где угодно: «В бане», «У постели больного», «В вагоне», «На ландо», «На охоте», «В Москве на Тру-

ву, фраза — в одно слово. Самым немонументальным способом Чехов создал самую монументальную картину всеобщей человеческой жизни. Но это и потому, что в ней, в этой картине, есть свое единство. Единство личности автора. Если бы слезовало назвать суть Чехова, все в его творчестве и жизни определяли одним словом, то это — свобода. Чехов не был революционным писателем, но, если можно так сказать, он был самым предреволюционным писателем. Россия в Чехове-писателе уже как бы оторнула всю старую жизнь и подобно тому, как на «вызов брошенный Петром» (Герцен), ответила колоссальным явлением свободного человека — Пушкина, на новый исторический вызов приготовилась ответить свободным человеком — Чеховым.

«...Никакого предрассудка любимой мысли. Свобода» — так осознал свою миссию Пушкин, вступая на новую и высшую ступень творчества. Чеховский идеал (впрочем, воздержимся от этого слова. «Выкиньте слова «идеал» и «порядок», — посоветовал писателю одной своей корреспондентке. — Ну их!), скажем сдержаннее — чеховская норма, неоднократно им заявленная, — «абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, несправедливости, свобода от страха и проч.»

Но если свобода у Пушкина как бы изначально задана, то чеховская свобода — завоеванная. «Душа моя просится вверх и вниз, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в солнечные рубли и копейки. Нет ничего пошлее менцанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому ненужной условной добродетелью... Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрести новую шерсть».

Все его творчество — это и выработывание в себе свободного человека со свободным отношением к миру. Каждый его рассказ и каждая повесть не отражение просто, отнюдь не описание чего-то лишь во-



Портрет работы художника В. Серова. 1902 г.

К 125-летию со дня рождения великого писателя

ражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых — за волноудомство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите».

Любовь слово, и любое дело, и их рознь, и их единство испытывались у Чехова на «чистоту нравственного чувства», если воспользоваться старым, еще Чернышевского, словом. Чехов любил людей. И не отвлеченно. Отсюда то, что и определило ответственность, — все усиливающееся чувство вины. «...Неопределенное чувство вины. Это чувство русское», — заметил он однажды. Ведь это своеобразный вариант пушкинской всемирной отзывчивости. Чехов поехал на Сахалин именно потому, что чувствовал себя виноватым в том, что было на Сахалине: «...Вместа, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение... мы стоним в тюрьмах миллионы людей... мы гоним людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, и все это сваливали на тюремных красносных смотрителей... виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Чехов не был сторонником теории «малых дел», но в жизни он не ушел ни от одного, самого малого; и строя школу, и лечя заведующих мужиков, и собирая книги для Таганрогской библиотеки. С самого малого начинается самое большое, и к нему он двигался с нарастающей стремительностью, которую во многом диктовал уже сам стремительный ход русской истории. Писатель, начинавший, если воспользоваться его же словом, е исторической скуки, заканчивал исторической надеждой.

Еще в одном из ранних рассказов Чехов написал: «Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно что талант; с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видел на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени... Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое». Чехов, подобно Тютчеву, не просил веры как подаяние и уж тем более

не принял бы суррогата. Но он ждал веры, ибо космысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас. Поэтому то знаменитые чеховские подтексты часто рождаются от недостаточности, а от переполненности, по сути оказываются не подтекстами, а так сказать, надтекстами. И если не обещало надежд будущее, то писатель обращался к будущему. К такому, которое, на первый взгляд, ни во что не вмещалось и никак не определялось. Потому-то только Петям и Соням показывало вдруг детски захлебнуться восторгом от его предчувствия, поверить, что мы увидим не что-нибудь, но — небо! И не просто небо, но — все небо! И в алмазах! «Я верую... Я верую горячо, страстно... Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах».

В ПЕРВУЮ послереволюционную пору Чехов много «не показался». Еще в двадцатом году даже образованнейший Луначарский говорил о Чехове как писателе для него «сомнительном». Да и позже утверждал, что «Чехов в нашем русском репертуаре сейчас вряд ли нужен». Соответственно, в список рекомендованных к постановке пьес не были включены «Иванов», «Чайка», «Три сестры» — «все эти дяди Вани, тетя Маня», по постоянной тогда приказке Маяковского. Мы еще не вполне понимаем, что значил тогда уже сам факт наличия статей В. И. Ленина о Толстом. Мы еще не до конца уяснили смысл тогда же произнесенных и переданных нам Луначарским слов Ленина: «Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры... Мы еще не полностью осознали значение тогда же сказанных ленинских слов о том, что новому зрению нужна и лирика, нужна Чехов, нужна житейская правда».

Вековой, даже многовековой был переваливал через высочайший хребет грандиозной революции, распался, распался и уплывался. И чтобы его понять, нужна житейская правда.

Но неугаемая сила человеческого духа неизменно сохранялась, жила и противостояла инерции и косности. И чтобы его поддержать, нужна лирика. И чтобы сберечь исконное чувство личной вины, и усилить ощущение общей ответственности, и укрепить веру в будущее будущее — нужен Чехов!

АРХИВ ПЬ

В издательстве «Художественная литература» готовится к печати новое издание сборника «А. П. Чехов в воспоминаниях современников».

Сегодня мы публикуем отрывки из мемуаров, не входивших в предыдущие издания.

ГЛАЗАМИ

СОВРЕМЕННИКОВ

В. ПОССЕ

ТРАГИК ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ

В. А. Поссе (1864—1949) — журналист, с 1898 г. редактор петербургского журнала «Жизнь», в котором была напечатана повесть Чехова «В овраге».

В ЯЛТЕ я пробыл дней десять. Каждый день виделся с Чеховым. Днем встречались на набережной и гуляли вместе. Вечером мы с Горьким приходили к нему на его виллу...

Раза два мне пришлось побеседовать с Антоном Павловичем наедине... Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о литературе, о «Жизни». Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на антресе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил: — Право, не знаю, думаю, что мог бы.

А я вот не могу! — и в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но, несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, но и любил «горестно и трудно».

Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви».

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне: — Наверное, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной...

В политических разногласиях Чехов не разбирался, вернее, не хотел разбираться. Улучшения жизни он ожидал от того, что лежит глубже этих разногласий...

Чехов говорил мне, что страдает от напыления сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы славились в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.

Углыли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большой или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.

— Вот, — сказал Горький, — подумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».

И Чехов тотчас, без раздумья начинал рассказ: — В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой сверху пахнут кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курносичка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.

А рядом в кухне старуха, прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.

— Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывала. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку, да его потихоньку и ткни в того, кого хочешь, чтобы не отстал. И не отстанет, моя милая. Так и прилипнет — не отдерешь. Ты уж мне

поверь. Я зря говорить не буду. Женщина я старая, бывала.

И вот курносичка закрывает «Эмансипацию женщин» Милля и идет ловить черного кота...

Осенью того же года я встретился с Чеховым в Москве. Был вместе с ним и Горьким в Художественном театре на представлении «Чайка».

Я до этого вечера не видел и даже не читал «Чайку». В одном из антрактов я подошел к Чехову, который стоял в вестибюле, прислонившись спиной к колонне, несколько закинув назад голову. Вид у него был унылый. Я подошел к нему и сказал:

— Антон Павлович, хочется вас поблагодарить за ту смелость, с какой вы решились крупного писателя, почти равного Тургеневу, вывести таким пошляком, как Григорин.

Я тотчас почувствовал, что сказал что-то неладное. Чехов слегка вздрогнул, побледнел и резко сказал: — Благодарите за это не меня, а Станиславского, который действительно сделал из Тригорина пошляка. Я его пошляком не создавал.

Когда впоследствии я прочитал «Чайку» и вдумался в Тригорина, то понял, что Тригорина Чехов создавал в известной степени по образу и подобию своему...

К «Жизни», к Горькому и ко мне лично отношение его было неизменно дружеским...

Когда после закрытия «Жизни» правительство я решил продолжить ее издание с границей на вольном стане и обратился к старым сотрудникам с просьбой поддержать мое начинание, одним из первых откликнулся Чехов, откликнулся совершенно просто, без малейшей боязни скомпрометировать себя в глазах русского правительства.

Дорогой Владимир Александрович, — писал он мне 22 декабря 1901 года, — я был нездоров почти весь месяц, теперь поправился и скоро засяду за работу. Я пришлю Вам повесть листа в два или полтора, только не в февральской книжке, а, вероятно, и апрельской, или даже майской.

Это Вы хорошо задумали — и дай бог Вам полного успеха... При жизни Чехова я его очень любил и как человека и как писателя, но все же настоящим образом творчество его я оценил спустя пять-шесть лет после его смерти... Я понял тогда, что он не комик, а трагик обыденной жизни...

М. КОВАЛЕВСКИЙ

ВСТРЕЧИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

М. М. Ковалевский (1851—1916) — юрист, историк и социолог. Был уволен из профессоров Московского университета в 1887 году за «вольномыслие», после чего эмигрировал в Париж, где в 1901 го-

ду основал Высшую русскую школу социальных наук. Неопубликованный вариант воспоминаний Ковалевского о Чехове извлечен из авторизованной машинописи его мемуаров, хранящейся в Архиве АН СССР.

ТО БЫЛ большой и здоровый ум, воспитанный на занятии точными науками, отличавшийся большой наблюдательностью, остроумием, способностью схватывать типы и изображать их с художественной простотой... Его повести — это до паразитичности верное изображение мельчайшей подробности человеческой пошлости и русского безвременья... «Мужики» Чехова, быть может, самая глубокая из разработанных им тем. Это — критика нашего народнического понимания желательных порядков русской деревни. Я не удивляюсь тому, что критики «Русского богатства» напали на них с озлоблением. Они метили не в бровь, а прямо в глаз!

Чехов относился к необыкновенной добросовестности к своей работе писателя... Однажды, жалуюсь на то, что по причине плохого здоровья он должен был расстаться со своим великорусским курором и переселиться... в Крым, он говорил мне: «Я, живя в Мо-

сковской губернии, на десятке верст в окружности анал чуть ли не каждую избу и мог поэтому писать о том, что видел и слышал». Говорил, что намеревается избрать предмет своего ближайшего рассказа или повести сельского учителя, одного из несчастнейших, по его мнению, людей в России. «Я анаю, — прибавлял он, — в мельчайших подробностях судьбу 30—40 учителей моей местности и поэтому в моем рассказе не будет ничего выдуманного». Чехов любил деятельность врача, охотно оказывал медицинскую помощь немущим крестьянам в своей округе, и это позволило ему войти в близкие и простые отношения и узнать крестьянскую жизнь и нужды непосредственно, а не из книг. Его интересовало живо все, касающееся земской России. Вопросы политического устройства... интересовали его в слабой степени. Но он был горячий сторонник таких порядков, которые бы доставили каждому возможность жить в полном согласии со своей совестью...

За невозможностью проводить зиму иначе как в теплом климате, Чехов рвался из Ниццы, хотя бы в Алжир или Рим. Один он не решился предпринять дальней поездки. У меня оказалось несколько недель свободного времени и вместе с Коротневским я согласился сопроводить его. До Алжира мы, однако, не доехали, так как застали большую бурю на море в Марселе, повернули в обратную сторону и ехали безостановочно до Флоренции. Здесь Чехов ждал корректора его пьесы «Три сестры». Он провел за неделю целый день, остался очень недоволен своей пьесой и говорил угрюмо, что для театра больше писать не будет. Но это было не более как временный настроение... В постановке Художественного театра пьесы Чехова имели большой успех, и он не был нахвалиться трепухой любителей, искусно руководимой Вл. И. Немировичем-Данченко и числящей в своей среде таких «артистов божьей милостью», как Алексеев. В Риме Чехов обнаружил свое равнодушие столько же к древней жизни, как и к средневековой. В первый день великого поста мы попали с ним в собор св. Петра на процессию. Вышла из храма, я спросил Чехова, как бы он изобразил эту процессию в художественном произведении? Чехов ответил: «Что же можно сказать — только «тянулася глупая процессия». К форуму, Капитолию и развалинам императорского дворца на Палатине Чехов отнесся с одинаковым равнодушием. После двух-трех дней Рим потерял для него всякую приятельскую силу, и он заговорил о том, чтобы уехать в Россию. Мы старались разубедить его, но тщетно... Чехов уехал, и мне не суждено было более увидеться с ним.

Публикация Н. И. ГИТОВИЧ

Имеется в виду статья ирвинговского критика Н. К. Михайловского («Русское богатство», 1897 г., кн. 6 и 10).

Зоолог, профессор Киевского университета.

Корреспондент «Трех осер» Чехов читал в Риме 7 февраля 1901 г.

В это время в записной книжке Чехова появилась запись: «Радикалы, крестьяне, интеллигенция, втайне судят предрассудками, втайне судят, втайне слышат, что для того, чтобы быть счастливым, надо носить шляпу черного кота. Крадет нота и ночью пытается сварились».

Мит. 242

**ЯВЛЕНИЕ** Чехова-классика было неожиданным и каким-то, на первый взгляд, необычным: все в нем, казалось, противоречило опыту русской классической литературы.

Ведь как начинали наши великие? В Пушкине чуть ли не с лица увидели главную надежду нации. Гоголь, как фейерверк, ворвался в российскую словесность со своим первым сборником, а уже после второго сам Белинский провозгласил его главою литературы. Достоевскому стоило написать лишь одну повесть — и его назвали «новым Гоголем». Лев Толстой, только-только приступивший к делу, одновременно удостоился признания таких разных критиков, как Дружинин и Чернышевский.

А Чехов? Начинать в массовой литературе и в журналистике самого невысокого разбора, долго-долго многими там и числился, медленно и постепенно входил в общее сознание, и едва ли не со смертью только, будто спохватившись, все вдруг поняли, что это было одно из крупнейших явлений мировой культуры.

Ведь чем славны наши великие? Романы, поэмы, эпосы. И почти всегда — центральная книга-откровение: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир».

А у Чехова? Фельетон, очерки, редко — небольшие повести, уже под занавес — ряд пьес. И — рассказы, рассказы, рассказы...

И, наконец, ведь всех наших великих отличает ясное сознание своей избранности и безусловного величия. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» (Пушкин). «Я совершу!» (Гоголь). «...Много ли у нас великих писателей?» — задавался однажды вопросом Лев Толстой. И, скупно перечислив, добавил: «Ну... я».

А Чехов? «...Каждый из нас в отдельности не будет ни «слоном среди нас» и ни каким-либо другим зверем... мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Ти-

Николай СКАТОВ

# СТАНОВЛЕНИЕ

# СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

хонь, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восемьдесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом, артель».

Тем не менее только об одном из этих «артельщиков» — восьмидесятников, о Чехове, будет сказано Горьким, что он делает эпоху в истории литературы и в настроениях общества.

Литературная эпоха прямо отражала и выражала эпоху историческую. В конце XIX века человечество, имея на острие движения Россию, вступало в завершающую стадию колоссального исторического периода и уже готовилось к новому. Объять здесь все и подвести итоги всему дано было скромному сыну мелкого таганрогского лавочника. И не с орлиных высот, а снизу и изнутри. Когда Чехов начинал молодым московским медиком, то, конечно, не думал, что ему предстоит стать самым великим во всей истории нового времени диагнозом-писателем.

Наверное, впервые в этой истории был так исследован, простукан, прослушан («повернитесь... дышите... еще глубже») весь ее состав, снизу доверху, вдоль и поперек, в самом большом и в самом малом. Известен как будто даже отзвучивший анекдотцем рассказ-свидетельство Короленко о молодом Чехове:

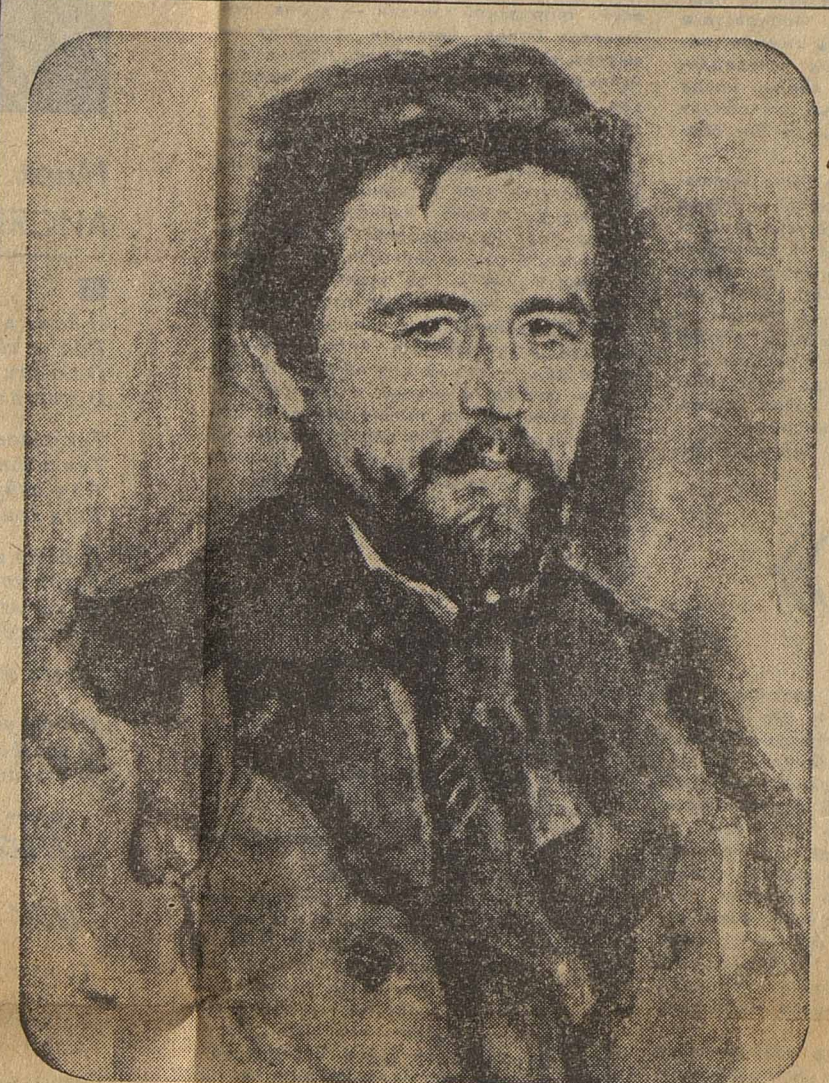
«— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал: — Хотите — завтра будет рассказ? Заглавие «Пепельница».

Режь не об описании пепельницы. Пепельница могла стать и становилась в центре литературного произведения. А также — «Справка», «Жалобная книга», «Альбом», «Письмо...», «Визитные карточки». А также — «Орден», «Экзаме», «Вывеска», «Устрицы», «Бумажник», «Закуска» — что угодно. Где угодно: «В бане», «У постели больного», «В вагоне», «В ландо», «На охоте», «В Москве на Тру-

ной площади... Кто угодно: «Либеральный душка», «Марья Ивановна», «Молодой человек», «Корреспондент», «Барон»... «В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды», — заявил Чехов. Любопытно: не один герой типа Базарова или Обломова, который долго, как во чреве, вынашивается, а армия! «Все его творчество», — отметил в своем «Слове о Чехове» Томас Манн, — отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает необъятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противоположности дореволюционных порядков».

**Н**О ИМЕННО для того, чтобы охватить необъятную Россию, и пришлось отказаться от эпической монументальности. Чехов объял то, чего не могли бы объявить никакие роман и никакая поэма. Он пронзил всю толщу жизни. Здесь самому большому послужило самое малое — гибкий, подвижный, динамичный, могущий быть ко всему приложенным рассказ. А уже он потребовал совершенно особого стиля. «Умею коротко говорить о длинных предметах», — коротко же определил Чехов свой стиль. И еще о каких длинных! Почти не знавшая в последнее время, даже у Толстого, нарицательных типов, русская литература снова обрела их, но уже не в монументальном романе («Обломов»), а в небольшом рассказе: Душечка, Ионыч, унтер Пришибеев... Иная гоголевская или толстовская фраза-период могла бы одна заполнить иную чеховскую новеллу. Целая книга как бы вмещалась в один рассказ, рассказ — в одну фра-

## А. П. ЧЕХОВ: «Желание служить общему должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья»



● Портрет работы художника В. Серова. 1902 г.

### К 125-летию со дня рождения великого писателя

ражение неразвития и невежества, и в то же время видите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых — за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите».

Любое слово, и любое дело, и их рознь, и их единство испытывались у Чехова на «чистоту нравственного чувства», если воспользоваться старым, еще Чернышевского, словом.

Чехов любил людей. И не отвлеченно. Отсюда то, что и определило ответственность, — все усугубляющееся чувство вины. «...Неопределенное чувство вины. Это чувство русское», — заметил он однажды. Ведь это своеобразный вариант пушкинской всемирной отзывчивости. Чехов поехал на Сахалин именно потому, что чувствовал себя виноватым в том, что был Сахалин, и в том, что было на Сахалине: «...В места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение... мы сгноили в тюрьмах миллионы людей... мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей... виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Чехов не был сторонником теории «малых дел», но в жизни он не ушел ни от одного, самого малого; и строя школу, и лечя занедуживших мужчин, и собирая книги для Таганрогской библиотеки. С самого малого начинается самое большое, и к нему он двигался с нарастающей стремительностью, которую во многом диктовал уже сам стремительный ход русской истории. Писатель, начинавший, если воспользоваться его же словом, с исторической скуки, заканчивал исторической надеждой.

Еще в одном из ранних рассказов Чехов написал: «Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени... Если русский человек не верит в бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое». Чехов, подобно Тютчеву, не просил веры как полагали и уж тем более

не принял бы суррогата. Но он ждал веры, ибо «осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас». Поэтому-то знаменитые чеховские подтексты часто рождаются не от недостаточности, а от переполненности, по сути оказываются восторгом от его предощущения, поверить, что мы увидим не что-нибудь, но — небо! И не просто небо, но — все небо! И в алмазах! «Я верую... я верую горячо, страстно... Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...»

**В** ПЕРВУЮ послереволюционную пору Чехов многим «не показался». Еще в двадцатом году даже образованнейший Луначарский говорил о Чехове как писателе для него «сомнительном». Да и позже утверждал, что «Чехов в нашем русском репертуаре сейчас вряд ли нужен». Соответственно, в список рекомендованных к постановке пьес не были включены «Иванов», «Чайка», «Три сестры» — все эти дяди Вани, тети Мани», по постоянной тогда присказке Маяковского. Мы еще не вполне понимаем, что значил тогда уже сам факт наличия статей В. И. Ленина о Толстом. Мы еще не до конца уяснили смысл тогда же произнесенных и переданных нам Луначарским слов Ленина: «Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры...» Мы еще не полностью осознали значение тогда же сказанных ленинских слов о том, что новому зрителю «нужна и лирика, нужен Чехов, нужна лирическая правда».

Вековой, даже многовековой быт переваливал через высочайший хребет грандиозной революции, расплывался, расползался и укладывался. И чтобы его понять, «нужна житейская правда». Но неугаемая сила человеческого духа неизменно сохранялась, жила и противостояла инерции и косности. И чтобы его поддержать, «нужна лирика». И чтобы сберечь исконное чувство личной «вины», и усилить ощущение общей ответственности, и укрепить веру в будущее будущее — «нужен Чехов!»